Вадим Куликов

КРАСНЫЙ
свет фонарей



Роман о городе, который не спит

Вадим Куликов

Красный свет фонарей

«Автор»
2026

Куликов В. А.

Красный свет фонарей / В. А. Куликов — «Автор», 2026

Одно сообщение. Полсекунды на дороге. И человек, который впервые за три года не знает, кому принадлежит его жизнь.Он будет искать правду. Она — прятать её. А город будет считать фонари на другом берегу.

© Куликов В. А., 2026
© Автор, 2026

Вадим Куликов
Красный свет фонарей

Красный свет фонарей

Одно сообщение. Полсекунды на дороге. И человек, который впервые за три года не знает, кому принадлежит его жизнь.

Он будет искать правду. Она — прятать её. А город будет считать фонари на другом берегу.

Глава 1. Красный

Дождь идёт третий день, но сегодня он какой-то неправдоподобно лёгкий — будто небо поплакало чуть-чуть, для приличия. Капли бьют в визор и разбиваются в тонкие ручейки, и сквозь них фонари набережной вытягиваются в длинные дрожащие столбы света.

Я выруливаю с проспекта на набережную. Поздно. Пусто. Где-то за спиной — редкие машины, шум мокрого асфальта, запах воды и выхлопа. Впереди — река: тёмная, гладкая, и луна лежит на ней пополам — половина в воде, половина в тумане. Красиво. Отвратительно, как красиво.

По профессии я восстанавливаю то, что люди разбили. Ржавые баки, сломанные рамы, мотоциклы, которые привозят к нам после аварий — иногда с фотографиями того, что было раньше. «Сделай, как было», — говорят владельцы. И я делаю: полдня шлифую, половину ночи крашу, и железо слушается, потому что железу всё равно, почему оно было сломано.

С людьми так не работает. Я всегда это знал. Сегодня узнаю, насколько.

Телефон оживает в кармане, когда я уже сворачиваю на набережную, — экран светится сквозь ткань. Даша. Она редко пишет вечером, ещё реже — в такой час. Читать на ходу нельзя: это правило я знаю всей кожей и сам десятки раз крутил пальцем у виска вслед тем, кто печатает за рулём. Значит — голос. Голос как-нибудь расскажет без строчек. Голосом можно спросить, голосом можно ответить.

Я глушу двигатель у самой ограды. Снимаю перчатку только после того, как мотоцикл стоит на подножке, — привычка, которой дед гордился бы. Телефон в руке. Её имя на экране. Жму вызов.

Длинный гудок. Второй. Третий — он тянется так, что успеваешь посчитать все свои ошибки по именам. Гудки идут, как струна на морозе: тонкие, звенящие, без единого ответа.

Тишина. Она не берёт.

Перезваниваю — на всякий случай, как перезванивают, когда первый раз показалось, что сбой. Сухой холодный голос: «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети». Она не сбросила. Она выключила телефон. Люди не выключают телефон, чтобы не разговаривать с городом, — они его выключают, чтобы не разговаривать с одним конкретным человеком.

Она не берёт трубку — и выключает телефон. Эти два факта ложатся один на другой, как две доски на стройке: не туда положишь — всё развалится.

Три строки.

«Я беременна. Не от тебя. Я люблю его».

Меньше, чем нужно, чтобы отменить доставку пиццы.

Слово «беременна» — какое-то длинное, чужое, с лишними буквами. И что-то не сходится — на уровне кожи, чуть ниже сознания. Она всегда писала имена. «Съезди к Андрею за ключом». «Оля ждёт в шесть». Она называла по имени всех — даже кота соседки. А тут — «его». Другого человека не бывает без имени. Я не успеваю додумать это до конца.

Потом больше никогда не вспомню об этом вовремя.

Я не отвечаю. Ставлю «прочитано» — так спокойно, что сам себе пугаюсь. Внутри — не крик. Внутри очень тихо, как в квартире, где вы долго жили вдвоём, а потом один из вас собрал вещи и забрал всё, кроме эха.

Я стою с телефоном в руке и не знаю, куда деть глаза. Поэтому поднимаю их.

Река передо мной тёмная, гладкая, и луна лежит на ней пополам — половина в воде, половина в тумане. Фонари на другом берегу вытянулись в столбы света, туман подполз к воде и лежит на ней, как белое одеяло. Капли дождя висят в свете — редкие, медленные, будто падают в замедленной съёмке.

Я смотрю на это и не могу насмотреться. Растерянно, как на чужой праздник, на который сам себя и позвал. Красиво. Отвратительно, как красиво. Мир не имеет права так выглядеть — не сегодня, не в эту минуту. Но он не спрашивает меня и светит так, будто ничего не случилось.

Хорошо, что красиво. Пока ещё красиво — значит, ночь ещё не кончилась.

Я надеваю перчатку. Застёгиваю. Проверяю — зачем? — застёжку на подбородке. Включаю музыку — тот трек, который она ненавидела: я всегда ставил его назло, а она в конце концов стала подпевать.

Я даю газу. Набережная отступает рывком, фонари сливаются в сплошную нить огня. Есть только скорость — единственное, что я понимаю сейчас: если ехать, не придётся думать. А думать нечем.

Её звали Даша.

Скорость не спасала. Она просачивалась сквозь рёв ветра, как вода в старую куртку, — и вот я уже видел её так отчётливо, что жмурился под визором.

Как она стояла на табурете посреди нашей квартиры, в моей старой футболке, с валиком в руке, и красила стену в «пепел и молоко» — цвет, который выбрала сама и которым гордилась, как своим открытием. На скуле у неё осталась полоса краски, и я два дня не говорил ей об этом — просто смотрел и не мог наглядеться. Как она ненавидела тот трек, что орёт у меня сейчас в наушниках: морщила нос и говорила — «выключи, вокал как у сломанного холодильника». А через полгода я застукал её на кухне за тем, что она подпевала. Так и не призналась. Мы оба многое не признавали друг другу — и я думал, что это и есть близость.

У неё были руки, которые не умели сидеть спокойно: перебирали пуговицы на моей куртке, крутили кольцо, рисовали пальцем сердца на запотевшем стекле — а я делал вид, что не вижу. Она знала имена всех — кассирши, соседского кота, водителя автобуса — и обращалась к ним по имени, и ей отвечали, как своей. Она смеялась так, что сдавались незнакомые люди: в поликлинике, в маршрутке, в очереди за хлебом — оборачивались и не могли на неё сердиться. Мы ездили к морю, на ту заправку за городом, где варят лучший кофе в области, — она сидела за моей спиной и вцеплялась в мою куртку так, что я чувствовал её пальцы даже сквозь ткань.

И вот теперь она сидела там же — позади, за спиной, — только рук своих я больше не чувствовал.

Дальше память покажет мне этот вечер кусочками — и я уже не буду знать, что забылось само, а что я запретил себе помнить. Красный фонарь на изгибе набережной: почему-то именно красный, огромный, тёплый, как капля крови. Мокрый асфальт. Свой собственный крик — короткий, удивлённый, будто чужой.

А сначала — светофор. Он мигает жёлтым на пустом перекрёстке, и я не сбрасываю газ. Зачем? Никого нет. Ночь моя уже кончилась, чего мне теперь бояться.

За поворотом мир расщепляется на кадры — так бывает только в рекламе страховок.

На дорогу выбегает собака.

Рыжая. Худая. С ободранным ухом. Я знаю её — кормил у сервиса горсткой сухарей, и она тогда виляла хвостом, будто мы старые друзья. Сейчас она не виляет. Она несётся через

дорогу по своим собачьим делам, не глядя по сторонам, — и я успеваю подумать что-то бессмысленное, вроде «не смею», — и выворачиваю руль.

Раньше, чем успеваю испугаться.

Заднее колесо соскальзывает с мокрой разметки. Асфальт полощется подо мной, как волна. Я ловлю мотоцикл коленом, локтем, плечом — всем, что осталось от физики, — и не ловлю. Искры. Скрежет, будто кто-то пилит мир пополам. Дождь в лицо — внезапно тёплый, будто кто-то плачет мне в затылок.

Ограда на изгибе набережной выныривает из темноты слишком быстро — или я слишком медленно. Она не отбрасывает меня — она подставляется, как будто ждала весь вечер. Я перелетаю через неё и чувствую, как земля ударяет в бок — так хватает за шиворот взрослый, вытаскивая мальчишку с проезжей части.

Потом — не темнота. Пока не темнота. Полусвет, глина под щекой, дождь, который падает уже не на меня, а куда-то мимо.

И плач. Сбоку, ниже по откосу — глухой, сдержанный, как плачут не от боли, а от страха.

Потом кто-нибудь скажет: из-за собаки. И будет прав — и неправ сразу. Собака просто бежала по своим делам. Я уже летел до неё. Три строки летели со мной.

Я ползу. Не помню решения — помню глину под ладонью, холодную, скользкую, и то, что правая рука не слушается вовсе, а левая тянет меня вниз по откосу, к кустам, откуда идёт этот звук. Свет фонаря падает сверху, косой, и в нём пляшут капли — будто кто-то третий стоит над нами и смотрит.

Он лежит в кустах, вниз лицом, вцепившись в них обеими руками. Мокрая куртка не по погоде. Нога, затёкшая между двух корней, под неестественным углом. Рядом на глине сидит плюшевый заяц — толстый, с оторванным усом, промокший до того, что сдался: обвис, как мокрая варежка.

— Не бросай, — говорит он, не поднимая головы. — Не бросай. Пожалуйста.

— Не брошу, — говорю я. — Отпусти кусты. Возьми меня за руку. Только за руку.

Он отпускает. Его пальцы вцепляются в моё запястье — тонкие, сильные не по возрасту, дрожащие. Я тяну. Корни отдают его так неохотно, будто он был их. Глина едет под нами, мы скользим вместе, и я упираюсь коленом, и где-то рвётся на мне ещё одна вещь, которой потом не будет уже никогда. Нога выходит. Он кричит — коротко, в голос, — и сразу зажимает рот, потому что, видимо, решил, что кричать нельзя.

— Целая? — спрашиваю я.

— Целая, — шепчет он. — Просто синяя.

— Синие ноги — это по нашей части, — говорю я. — У мотоциклистов это как значок.

— Ты весь в крови, — говорит он.

— Это кетчуп, — говорю я. — Я мотоциклист, у нас всё так: кетчуп, горчица, вино. На выбор.

Он смотрит на мою разбитую ладонь. Хочет улыбнуться — и не может: губы дрожат, глаза на мокром. Потом вдруг выдаёт — быстро-быстро, как будто боится, что не успеет: — Это я. Из-за меня. Я за ней побежал, а её не догнал. Если б я не полез… — Он задыхается. — Она всегда от меня убегает, а я всегда бегу. Мне нельзя её догонять, я знаю. Но она маленькая. Она же одна.

Он говорит «она маленькая» о собаке, которая годами живёт во дворе, — и я не спорю. В его глазах стоит вода, но он её не выпускает: взрослые, наверное, не любят, когда ревут. Я знаю этот взгляд. Смотрю в зеркало каждое утро.

— Слышь, — говорю я. — Кетчуп. Помнишь? Кетчуп.

Он роняет улыбку — коротко, сквозь слёзы, всем лицом сразу. И впервые за вечер смеётся. И что-то у меня в груди от этого ломается. Не в плохом смысле. Просто ломается.

Дальше я помню глину, свет фонаря и то, что я тащил его вверх по откосу — на себе, на одной руке, а он шёл, помогал, ставил босую ногу на мои следы, будто учился ходить заново. До пня у ограды оставалось метров десять. Я не помню, как мы их прошли. Помню, как он сел на пень, как я сказал «сиди, не вставай» и как темнота наконец дождалась своего часа и закрыла мне глаза.

Темнота.

Очнулся от тёплого шершавого языка — настойчивого, деловитого. Надо мной было небо в мелком дожде, а рядом сидела собака — та самая. Успела. Быстрее меня, как всегда у неё всё получалось. Смотрела в глаза и не виляла хвостом — просто смотрела, как смотрят на тонущего. Единственное трезвое существо на набережной.

— Ты умер? — спросили рядом.

Я повернул голову. На пне у ограды сидел мальчик — там, куда я его дотащил. Куртка промокла насквозь, заяц снова был у него в руках, и оба они смотрели на меня с одинаковым страшным спокойствием существ, которые уже всё поняли.

— Пока нет, — сказал я.

Он всхлипнул — и тут же зажал себе рот ладонью, как будто всхлипы были чем-то запрещённым. Дал себе слово не реветь. Нарушил его. Снова зажал рот.

— А тебя тоже выкинули? — спросил он.

Я хотел ответить что-нибудь взрослое, обтекаемое. И не смог: три строки из кармана легли поверх всего — на боль, на дождь, на мокрого зайца.

— Вроде того, — сказал я.

Он кивнул так серьёзно, будто мои слова всё объяснили. И подвинулся на пне — на пару сантиметров, но в мою сторону. Куда деваться семилетнему рядом с окровавленным человеком, если не к нему.

— Как тебя зовут? — спросил он шёпотом, будто имя — это пароль.

— Дима. А тебя?

— Стёпа. — И после паузы, очень тихо, с набранным воздухом: — Мне семь. Это почти взрослая жизнь.

— Семь — это серьёзно, — говорю я. — Семь лет — это уже почти взрослая жизнь.

Он кивает и впервые за вечер выпускает зайца из рук. Кладёт его на колени — рядом, не в стороне, — как напарника.

Потом, по дороге к дому, он расскажет мне всё запинаясь, и я соберу историю целиком. Собака вырвалась у бабушки: он приоткрыл дверь — а она стрелой. Он побежал за ней через двор, вниз, на набережную, в чём был, босиком. Собака перескочила ограду — а он полез следом, догнать, вернуть, потому что «она маленькая». И не удержался.

— И ты меня услышал? — спросит он. — Сквозь дождь?

— Услышал, — скажу я. — Ты кричал так, что меня разбудил.

Это будет даже правдой — с той стороны, с которой правду считают.

Я отдал ему свою куртку, и он завернулся в неё, как в дом, — сгорбился, спрятал нос в воротник, и от этого стал ещё меньше. Довёл до подъезда. Бабушка повторяла мне «спасибо» столько раз, будто это моё имя, — а потом начала врать мне в лицо: «сам упал, сам, вы не при чём».

Стёпа стоял в дверях и смотрел на бабушку во все глаза. Потом на меня. Потом сказал — громко, на весь подъезд, наперекор всем взрослым разом:

— Это я виноват. Я сам полез.

Ему никто не поверил. Взрослые умеют не слышать то, что им невыгодно, — в этом я теперь специалист. Но он всё-таки сказал. Это я запомнил.

На площадке он обернулся:

— А собака? Она же одна. Она вернётся?

— Вернётся, — сказал я. — Она вон — и не уходит.

Он посмотрел на собаку. Собака смотрела на него — оба понимали друг друга без слов, в этом они были сильнее нас. Стёпа помахал из окна второго этажа. Я помахал в ответ.

Собака шла за мной всю дорогу — в трёх шагах, как сопровождающий. Когда я вернулся к мотоциклу — он лежал на боку, с распоротым пластиком, но живой, как и я, — она села рядом и смотрела, как я проверяю руль, тормоз, свет.

— Иди отсюда, — сказал я ей. — Нечего тут смотреть.

Она не ушла. Лизнула руку — ту самую, которой я её отталкивал, — и легла в лужу света от фонаря.

Фонарь горел красным всё это время — всё, пока я ползал по глине и вытаскивал мальчишку. Потом мигнул — и стал обычным, жёлтым, равнодушным.

Я сидел на асфальте мокрый до нитки, с рассечённой бровью, рядом с живым мотоциклом и живой собакой. Живой мальчик смотрел на меня из окна второго этажа — там, за рамой, в свете бабушкиной лампы. Три живых. Я трижды сегодня был лишним в этом списке — и не жалел.

Я держал телефон с тремя строками, от которых в мире не осталось ничего целого.

Всё остальное было цело. Кроме меня.

Глава 2. Вода

Вода текла из крана уже пять минут.

Я стояла в ванной и смотрела, как она бьёт в белый фаянс, разбивается, стекает. Это было два месяца назад. Тест лежал на краю раковины — маленькая белая полоска, которая должна была решить всё. Я не смотрела на него. Я смотрела на воду, потому что вода — честная: она просто течёт, и ей не нужно ничего решать.

Потом я посмотрела.

Две полоски.

Я не закричала и не заплакала. Я закрыла кран и очень осторожно, как стекло, села на край ванны. В квартире было тихо. Дима был в мастерской — он всегда в мастерской по вечерам, у него железо, дед, запах бензина и покоя. Я думала: у меня есть время. У меня есть целый вечер, чтобы придумать, как сказать. Я репетировала слова перед зеркалом, и каждое из них выходило фальшивым.

Два месяца я носила это в себе. Два месяца я просыпалась ночью и клала ладонь на живот — совсем легко, как кладут руку на спящего, чтобы не разбудить. Два месяца я улыбалась Диме за завтраком и врала ему в лицо, и он верил, потому что он верит мне во всё.

Я сказала только Оле. И ещё одному человеку — тому, кому я позвонила этой ночью и молчала в трубку. Он один знает то, чего не знает даже Оля.

Врач тогда сказал слово, которое я до сих пор ношу в себе, как осколок под кожей. И сказала я себе другое: если я скажу Диме — он сломается. А если не скажу — сломаюсь я. Я выбрала, кого ломать.

Сегодня я дописала этот вечер до конца. Я собрала сумку — ту самую, синюю, в которой всегда лежали его запасные перчатки, потому что я знаю: он потеряет. Я написала три строки. Стёрла. Написала снова. Стёрла имя — оно просилось в текст само, как вода под дверь, — и за это место встало «его». Без имени. Так было нужно.

Я отправила. Через минуту позвонил он. Я смотрела на экран — на его имя — и не взяла. Когда позвонил второй раз, я уже успела выключить телефон.

В дверь позвонили. За дверью стоял он — тот, кому я позвонила перед этим, единственный, кто должен был быть рядом сегодня. Он не спросил ничего. Он взял мою сумку и сказал только: «Пойдём».

— Ты уверена? — спросил он в машине.

— Я не уверена ни в чём! — крикнула я. — Понимаешь? Ни в чём! Ни в одном слове, которое я написала! И если ты сейчас спросишь ещё раз — я выйду и пойду пешком, в дождь, куда угодно!

Он замолчал. Он умеет молчать так, что рядом с ним становится спокойно. Он включил дворники — они заработали вразнобой, скребя по стеклу, и вода потекла по лобовому стеклу целыми реками.

Мы ехали через город, и я смотрела на мокрое окно. На той стороне улицы стояли люди под зонтом, ели что-то из бумаги, смеялись. Обычная жизнь. У меня внутри была вода — та самая, из крана, честная и бесконечная.

Я положила ладонь на живот и закрыла глаза.

Впереди был мост.

Сначала был звук. Он не ворвался в машину — просочился, как вода под дверь: низкий, рычащий, знакомый до тошноты. Не «какой-то мотоцикл». Наш. Звук, который будил меня по утрам и возвращался с работы за три улицы до подъезда.

Лёша посмотрел в зеркало — и не спросил, зачем.

В конце моста, из-под дуги фонаря, выплывала точка света. Потом — силуэт. Потом я узнала всё сразу: посадку, наклон к рулю, распоротый пластик — наш пластик, я видела его живым в прошлую субботу. Семьдесят метров. Тридцать. Я прижала ладонь к стеклу — не чтобы он увидел. Просто между нами было стекло, и я хотела, чтобы хоть что-то между нами было моим.

Два слова стояли у меня на зубах — так стоят вопросы, на которые нет ответов. Я открыла рот.

Мы прошли мимо друг друга со встречной скоростью — сто сорок километров в час — за полторы секунды. Он смотрел вперёд, в дождь, в свою дорогу. Мимо ладони, которая опоздала на три года.

— Показалось, — сказала я.

Лёша молчал до поворота. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Я тебя не спрашивал.

Глава 3. Мост

Она бежит за мной.

Я замечаю её в зеркале на втором километре — рыжий ком, прыгающий по лужам. Думаю: померещилось. Но на третьем километре ком всё ещё там, и тогда я сбрасываю газ до сорока — и она догоняет. Бежит, высунув язык; ободранное ухо развевается, как флажок. В её глазах ни капли сомнения: она решила идти со мной. Это её решение.

— Куда? — спрашиваю я. — Ты вообще куда собралась?

Она виляет хвостом. По её логике всё ясно: человек накормил сухарями — значит, человек её. Всё остальное — мелочи: ночёвки под машинами, чужие дворы, годы одиночества. Ей довелось пережить и не такое. Мой сегодняшний вечер по сравнению с её улицей — ерунда.

Единственное существо сегодня, которое выбрало меня само.

Я не могу её взять. Куда — к ней? Привести собаку под её окно, постучать, показать: смотри, у нас теперь общая… Нет. И не могу оставить её на набережной — она побежит обратно на трассу, под машины, и вчерашнее «ты умер?» повторится с ней, а не со мной.

В мастерскую. Мастерская в двух километрах, там тепло, там есть старый плед под верстаком и миска из-под краски — я в ней уже что-то возил. Разворачиваю мотоцикл, и она бежит рядом, счастливая, будто это и был наш план с самого начала.

У мастерской я сыплю ей сухарей — целую горсть из ящика под кассой. Запираю её в мастерской, сам выхожу и сажусь на корточки у железной двери, потому что она скребёт с той стороны.

— Сидеть, — говорю я сквозь металл. — Это приказ. Единственный, который сегодня кто-то выполнил.

Скрести останавливается. Из-под двери — тихое недовольное фырканье. Согласие.

— Я вернусь, — говорю. И добавляю, сам не зная кому: — Я всегда возвращаюсь.

* * *

Дальше — прямо через город, по проспекту, наискосок, к её району. Двадцать минут. Двадцать минут, за которые можно передумать тысячу раз, но я не передумал ни единого.

На мосту через реку я встречаю её.

Я не знаю этого в тот момент. Узнаю потом — так, как узнают всё самое главное: слишком поздно и слишком понятно.

Мокрый мост, четыре полосы, тусклые дуговые фонари через каждые тридцать метров. Впереди — встречный поток: две машины, фура. А из-за фуры — тёмный седан, чистый, аккуратный, с включёнными фарами. Он идёт медленно, уступает, как велит вежливость, — и на секунду поравнивается со мной — борт к борту, сквозь сплошную линию, — метра полтора между нами.

За рулём — мужчина. Я его не знаю. Мне нет до него дела.

А на переднем сиденье, у окна…

Силуэт. Женский. Рука прижата к стеклу — или это просто отсвет? Волосы тёмные от дождя. Голова повёрнута чуть-чуть — или мне кажется? — в мою сторону: на звук, на рёв, на то, как я иду по мосту.

Мы проходим мимо друг друга со встречной скоростью — восемьдесят плюс шестьдесят, сто сорок километров в час, — и за те полторы секунды, что длится этот полёт, во мне успевает подняться и упасть что-то огромное. Я почти кричу. Я уже поворачиваю голову — следом, в зеркало, —

Фара. Дождь. Обычная тёмная машина, которая уезжает по своим делам, к своим людям, в свою обычную жизнь.

Показалось.

Я еду дальше и говорю себе, что показалось. Что в этом городе тысячи женщин с тёмными волосами. Что та, которая написала мне три строчки, сейчас сидит с ним — с тем, чьё имя она даже не написала, — где-то в тёплом месте, и ей не до мостов.

Я не знаю, что в ту же секунду она, сжавшись на чужом пассажирском сиденье, смотрела в мокрое окно на мой мотоцикл с распоротым пластиком — и узнала. Узнала по звуку, который полтора года был звуком её дома. Что она уже открыла рот, чтобы сказать Лёше: «Останови. Останови машину», — и сказала вместо этого: «Показалось».

Мы разминулись на расстоянии вытянутой руки и на целую жизнь.

* * *

Её двор я узнаю издалека — по тому самому окну на третьем этаже, где всегда горел свет.

Сейчас оно открыто.

Настежь. Занавеска вывернулась наружу и мокрым языком треплется на ветру.

Я не помню, как глушу двигатель. Помню только, что он рычит ещё, когда я уже бегу, и что звук мой — свой, домашний, — вдруг кажется мне визгом. Подъезд. Код. Дверь. Лестница — я беру её приступом, через две ступени, и перила обжигают ладонь через перчатку.

Она обижалась молча и раньше. Но чтобы исчезнуть на сутки — так не было ни разу.

Она могла наложить на себя руки.

Я думал, что это мысль. Оказалось — это знание. Оно просто ждало во мне с самого вечера, свернувшись, как пружина, и сейчас распрямилось.

Третий этаж. Я стучу. Раз. Два. Три.

— Открой! — Голос чужой, сорванный. — Открой, слышишь?!

Дверь молчит. Я вставляю ключ — руки не слушаются, ключ скребёт по скважине, как гвоздь по стеклу. Поворачиваю. Выхожу в тёмную прихожую.

Пусто. Крючок у стены голый — куртки нет. Обувь сгребена в кучу, будто её выгребали второпях. Из шкафа торчат распахнутые дверцы.

Я иду по квартире — не иду, лечу. Кухня. На столе её кружка с трещинкой-молнией, в ней холодный чай. Недопитый.

И табурет.

Табурет стоит у окна. Не задвинут. Окно распахнуто — дождь летит внутрь, мелкий, тёплый, и подоконник мокрый на ладонь в глубину.

Я подхожу к окну.

И смотрю вниз.

Во дворе, под фонарём, лежит что-то белое.

Фонарь — тот самый, во дворе, — вечно больной: то разгорается, то гаснет, моргает, как разбитое сердце. Сейчас он моргает, и в каждом его вздохе я успеваю увидеть по кусочку. Белое. Округлое. Рядом — тёмное пятно, которое расползается по асфальту и соединяется с лужами в одно большое чёрное.

Дождь висит между мной и двором стеклянной пеленой — сквозь него видно всё, кроме деталей. А детали — это всё.

Я прижимаюсь лбом к стеклу. Дыхание оседает на нём белым туманом, я вытираю его рукавом, снова высовываюсь — фонарь гаснет. Внизу темнота. Фонарь разгорается: белое. Гаснет. Разгорается: пятно вокруг белого стало шире — или мне кажется? Вода. Это вода. Это просто вода. Или нет. Как отличить воду от того, о чём я думаю? С третьего этажа — никак.

Меня трясёт. Я открываю окно шире, влезаю на подоконник коленями — дождь тут же забирается мне за шиворот, — и кричу вниз, в мокрый двор:

— Даш!.. — Голос рвётся, как плохая связь. — Даша!!!

Двор молчит. Только где-то в подъезде напротив хлопает дверь — чужая, равнодушная жизнь.

Белое под фонарём не шевелится.

Не шевелится.

У неё было белое платье. Она надевала его на наш первый ужин — одно из тех, «ничего особенного», из которых состоит вся жизнь.

Дальше я не помню ничего по порядку. Помню отрывками, как снимки с дрожащей руки: лестница — три этажа, я держусь за перила, потому что без них падаю; дверь; двор; я бегу по асфальту и фонарь наконец разгорается — надолго, ровно, будто ждал; и я вижу — наконец-то вижу, вблизи, — и бросаюсь на колени в холодную воду.

Это шлем.

Белый шлем. Со стёршейся наклейкой-солнцем на затылке — я сам её клеил, в первый месяц, когда говорил ей, что она — моё лето. Тёмное пятно вокруг — просто вода: он лежит в луже, и лужа подтянулась к нему, как живая. Визор зачерпнул дождя и потемнел — снизу он тёмный, глянцевый, и в нём отражается небо. Вот что я видел с третьего этажа: белый шар и тёмная лужа. Светлые волосы и лицо, которое смотрит вверх.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.